

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

Елена. Александр Иванович Герцен

Und das Dort 1st n̄icinals hier! Schiller [И то, что Там, - никогда не бывает
здесь! Шиллер (нем.)]

I

Спокойно. Я мой век на камне кончу сем.

Озеров

В небольшом доме на Поварской жил небольшого роста человек. Он жил спокойно, тихо, потому что не умиралось. Весь околоток любил и уважал его; когда он, по обыкновению, приходил в воскресенье к обедне, диакон ставил себе за обязанность поклониться ему особенно; когда он проходил мимо соседней авошной лавочки, толстый лавочник, удивительным образом помещавшийся на крошечном складном стуле, мгновенно вставал, кланялся и иногда осмеливался прибавить: "Ивану Сергеевичу наше низкое почитание". А Иван Сергеевич, с лицом, на котором выражалось совершеннейшее спокойствие духа, улыбаясь, принимал эти знаки доброжелательства.

Никто не видывал Ивана Сергеевича печальным, сердитым; даже незаметно было, чтоб он старелся. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым, зимою в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и с палкой из сахарного тростника, летом - в темно-синем фраке и с тою же палкой.

"Что это Иван Сергеевич не женится? - говорила часто соседка его, старая генеральша, страшная охотница до архиерейской службы, постнокушанья и чужих дел. - Право, за него можно отдать всякую девушку: ни одного праздника не пропустит, чтоб не быть у обедни. Редкость в наше время такой человек!"

Вот была бы ему пара Анфисы Николаевы племянница". - "Без всякого сомнения", - отвечала проживавшая у генеральши вдова бедного чиновника и которая так же, как и генеральша, не знала ни Ивана Сергеевича, ни племянницу Анфисы Николаевы.

Поступим же лучше и познакомимся с ним.

Коллежский советник и ордена св. Анны 2-й степени кавалер, Иван Сергеевич Тильков принадлежал к числу тех людей, которые проводят целую жизнь с ясностью осеннего дня и без дождя и без солнца. Воспитанный некогда у профессора Дильтея в маленьком домашнем пансионе, где был прилежным и благонравным учеником, он образованием своим стоял выше большей части тогдашней молодежи. Сначала его записали в гвардию; тихий, флегматический и не очень богатый, он не мог участвовать в буйной и роскошной жизни своих товарищ. Его сделали полковым адъютантом, и тут он приобрел искреннюю любовь офицеров, потому что не ябедничал на них полковому командиру и не переменял порядок дежурства и нарядов по первой просьбе. Домашние обстоятельства заставили его перейти в гражданскую службу, и, сняв свой невинный меч, он принялся за перо. Служивши советником в какой-то коллегии, он умел сохранить чистоту совести и чистоту рук, читал каждую бумагу от доски до доски и являлся всякий день в 9 часов утра на службу. Теснимый председателем, он, не ссорясь, вышел в отставку, взял с собою чин коллежского советника, орден св. Анны 2-й степени, уважение сослуживцев и спокойствие духа человека, убежденного, что не сделал ничего злого. Но что же ему было делать дома? Он не имел близкого человека, которому мог бы передать думу или чувства, волновавшие его душу; но он не имел и этих дум. Все семейство его состояло из старухи Устиньи, которая ходила за ним, как за ребенком, и огромной датской собаки, Плутуса, за которой он ходил, как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, кто встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на Поварской, кто стер бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени; он даже намекал об этом Устинье, и Устинья советовалась тайком от него с ворожею, какая будет невеста:

трефовая или червонная; но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло, шло, а Иван Сергеевич старелся да старелся. Потом являлась еще другая мысль. У него было душ сто крестьян в Смоленской губернии, из коих пятьдесят платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только старосте за право не давать ни копейки помещику. Почему ж не ехать в свою деревню, не завести хозяйство, не сеять лозу и клевер, не пахать по-голландски нашу русскую землю? И вот он купил все тома "Трудов Вольного экономического общества". Но какое страшное одиночество! Сверх того, и на это надобно было более решимости, нежели у Ивана Сергеевича было. Что ж делать? Остаться холостым в Москве - это было

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
всего легче, стоило только продолжать жить. Правда, горькие минуты бывают с человеком, который, думая до 45 лет, что из себя сделать, увидит наконец, что уж выбор невозможен и что некуда себя деть, а остается доживать свой век, пока бог грехам терпит. В эти горькие минуты, которые бывали, впрочем, очень редко, Иван Сергеевич брал шляпу, палку из сахарного тростника и отправлялся или гулять до тех пор, пока физическая усталость сделается отдыхом моральной, или к одному из двух-трех знакомых, просиживал там несколько часов и потом преспокойно возвращался домой, где на лестнице ожидал его Плутус, а в горнице - Устинья. Но сутки состоят из 24 часов, и потому за всеми посещениями, за сном, за обедом остается еще много времени; его Иван Сергеевич употреблял на приведение в порядок своих вещей и на чтение.

Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире: двадцать лет стоял диван, обитый некогда синей бомбой, на одном и том же месте, а перед ним - овальный стол орехового дерева. Двадцать лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами, машинка, которой нельзя чинить перьев, колокольчик, несколько книг и бумаг; один календарь, возрождаясь ежегодно, определял движение времени.

Иван Сергеевич так привык к порядку, что не мог видеть равнодушно какую-либо вещь не на своем месте, то есть не на том, которое принадлежало ей по праву десятилетней давности. Редкие посещения немногих знакомых, мытье полов, вставка рам разрушали по временам этот порядок и давали ему занятие. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и т. д. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала "Московские ведомости", потом книги, которых у него было довольно в большом шкафе, близ письменного стола. Он откровенно восхищался Расином и Херасковым, удивлялся смелой фразе только что появившегося Карамзина и, что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он "Manon Lescaut", "La religieuse" и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно:

роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную.

Таким образом жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтаний о славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойна, как кладбище; сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя; от природы флегматик, он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царilo суевство и полуатеизм Вольтера, ничем не стесняемый прихотливый разврат вельмож и низкое рабство их клиентов. В нем не было той самобытности, которая выносит человека над толпою, ни той пошлости, которая заставляет другого делить с нею ее сальные пятна, и потому он отстранился от людей и мог бы умереть, не сделав ничего доброго, кроме благодетельных попечений о Плутусе, - словом, исчезнуть, "как струя дыма в воздухе".

Иначе судила судьба!

В последние годы прошлого столетия, когда Екатерина, солнце этого полного, пышного века, согревшее всю Русь материнской любовью, нежной, женской, склонялось к западу и садилось в красные тучи, - Устинья с удивлением стала замечать, что Иван Сергеевич чаще не бывает дома, что он иногда забывает кормить Плутуса и при чае откладывать для нее три кусочка сахара. Желая удостовериться в справедливости своего замечания, она переложила на столе пистолеты, и две недели прошло прежде, нежели Иван Сергеевич заметил это нарушение порядка. "Странно", - думала она, качая головою, и не могла догадаться. Наконец Иван Сергеевич воротился однажды домой очень поздно, задумчивый, рассеянный и с заплаканными глазами. Вслед за ним приехала карета, и в ней привезли полуторагодовалого ребенка со всем детским багажом.

Рыдая, прощалась с ним какая-то женщина, одетая в черное платье и повязанная белым платком, целовала руки Ивана Сергеевича, просила, бога ради, не оставлять круглую сироту; потом речь шла о каких-то похоронах, о какой-то свадьбе... Устинья ничего не поняла - она же была крепка на ухо. Вдова бедного чиновника, жившая у генеральши, на другой день рапортовала ее превосходительству о подъезжавшей ночью карете к дому Ивана Сергеевича, о том, что в ней приезжала

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
женщина, что дворник Ефимыч спрашивал у кучера, чья карета и кто приехал, но не мог ничего узнать, ибо карета была наемная. Когда женщина уехала, Иван Сергеевич с величайшей аккуратностью начал учреждать люльку, передвинул диван, который без этого обстоятельства мог бы умереть на своем месте, и просил Устинью ходить за ребенком как можно лучше, а пуще всего - никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем привезен.

За это он обещал ей двойное жалованье и давно желанную русскую тафту на покрышку вытертого заячьего салопа. Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать; всякое утро осматривал он, чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословляя его, играл с ним; в день это повторялось несколько раз, и, как бы поздно ни возвращался он домой, всегда подходил к люльке поправить одеяльце, хотя бы оно очень хорошо лежало, и посмотреть на него с любовью. Плутус стал играть второстепенную роль в доме, но, будучи не человеком, он за это не только не съел и не задушил Анатоля, но, напротив, жил с ним по-братьски. Когда в гостиной расстилали ковер на полу и пускали ползать маленького Анатоля по правилам, извлеченным Иваном Сергеевичем из "Эмиля", огромный Плутус непременно являлся играть. Анатоль теребил его за уши, за хвост, клал ручонку в его пасть, улыбался ему, целовал его, и никогда тени негодования не было заметно на чрезвычайно важном лице Плутуса; он лизал Анатолю ноги, а пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто, прижавшись к Плутусу, Анатоль засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрогиваться даже Устинье, которую уважал как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав отроду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и Устинья всякий раз отнимала Анатоля, который плачевно обращал к ней взор. Иван Сергеевич радовался, что жизнь его имеет пользу, цель, и в день раз десять перекладывал сдвинутые Анатолем вещи.

II

E come i gru van cantando lor lai,
Facenclo in aer di se lunga riga;
Così vid'io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga...

дант. Dell' "Inferno", C. V [И как журавли летят с унылыми песнями, образуя в воздухе длинный строй,

так, увидел я, летели со стонами тени, несомые этим вихрем... Из "Ада", песнь V (итал.)]

Месяцев за пять или за шесть перед тем, как привезли Анатolia к Ивану Сергеевичу, он встал, по своему обыкновению, в 7 часов утра, облекся в халат вердеромового цвета, сшитый из платья покойной его матушки, старинной шелковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и потягиваясь, ласкался к нему; Устинья принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым; он хотел попользоваться, может, последним хорошим днем в году и задумал идти в дворцовый сад, жалея только, что для этого ему надлежало отказаться от обоих товарищей своих прогулок: от Плутуса и от палки из сахарного тростника. Так-то удовольствия человеческие никогда не обходятся без лишений. Вдруг кто-то застучался в дверь. Устинья пошла посмотреть и воротилась с письмом в руке. "Лакей в богатой ливрее принес его и ждет ответа", - "Пусть подождет", - сказал Иван Сергеевич с своим удушающим спокойствием и начал наливать кофе в чашку. Устроив свой завтрак, систематически размочив для Плутуса кусок белого хлеба в сливках, он прочитал записку, вышел в переднюю, сказал лакею: "Доложи князю, что буду в назначенное время" - и воротился допивать кофе, бормоча: "Странно, на что я этому повесе? Устинья Артамоновна, вычисти-ка хорошенъко каftан да приготовь глазетовый камзол, тот, что надевал в Успенье".

В небольшом кабинете, перед большим письменным столом, на вольтеровских креслах сидел молодой человек лет 28. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так, как все черты лица - порывистую душу. Он был в халате, обнаженная грудь подымалась сильно, темные волосы едва виднелись из-под бархатной шапочки.

Юное лицо летами было старо жизни; страсти и перевороты оставили на нем резкие следы. Протянув ноги на мягкую подушку, он задумчиво чертил пером бессвязные фигуры и несуществующие буквы. Стол был завален бумагами и книгами; смотря на них, трудно было догадаться, что за человек князь: проекты государственных перемен, фасады церквей, сельских домов, конюшен, отчеты из деревень, прейскуранты из магазинов, выписки из романов и выписки из локка, из Монтескье, множество нераспечатанных писем и несколько начатых ответов. Подле лежал развернутый том Шекспира; казалось, он читал его недавно. Весь кабинет был продолжением этого стола, или, лучше, стол был сокращением этого кабинета. На полу стояли превосходные картины, иные в богатых рамках, иные без рам, многие обернуты к стене; несколько ваз красовалось без симметрии — одна на окне, другая на мраморной тумбе, третья на камине; большие бронзовые часы Нортонса спокойно отдыхали незаведенные, и груда книг, большую частью английских, смиренно лежала на ковре, которым был обит весь пол. Прислонившись к стрне, стоял заржавевший кухенрейтер; черкесский кинжал висел возле каких-то остатков астролябии; наконец, бюст Сократа со вздернутым носом и бюст кардинала Ришелье с повислыми щеками смотрели друг на друга, отделенные темным мраморным Приапом с козлиной ногой, с козлиной бородой и с сладострастным выражением.

Вскоре князь бросил перо, облокотился на обе руки и неподвижно вперил свой взор на висевший перед его глазами вид Венеции.

Смотрел ли он на него или нет, не знаю, но скорее нет, ибо видно было, что он чем-то очень занят. Цвет лица его менялся, и он часто проводил рукой по лбу, как бы желая отогнать думу или стереть воспоминание. Тихо отворилась дверь, и взошедший камердинер доложил о приходе Ивана Сергеевича. "Проси", — сказал князь, не перемения положения, и через минуту взошел Иван Сергеевич с своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека.

— Чему обязан я, что ваше сиятельство...

— Бога ради, к стороне эти церемонии. Мне есть до вас просьба:

вы можете меня облагодетельствовать, мне нужен благородный человек, а я знаю вас, несмотря на то, что мы редко видимся. Вы любили моего отца, он много сделал для вашего семейства, теперь вы можете воздать сторицею... Не отвечайте ничего, невозможного я не требую, я не сумасшедший. Прежде всего вы должны выслушать полную исповедь; я буду откровенен, и ежели тогда вы откажетесь помочь мне, то вы уже решительно не человек.

Удивленный Иван Сергеевич приготовлялся слушать, а князь указал ему стул с другой стороны стола, опустил глаза и долго искал, с чего начать. Казалось, он обдумал, как и что ему сказать, и именно поэтому растерялся в ту минуту, когда надлежало говорить.

— Вы знаете, — начал он, — какая блестящая карьера ждала меня по возвращении из Оксфорда. Императрица любила моего отца, она знала мои способности, она приняла меня милостиво.

Я, юноша свежий, не зараженный старыми предрассудками, не скованный нелепыми формами, я понимал мысль великой Екатерины; я понимал, что ей надо человек, через которого разливалась бы святая воля ее, и хотел сделаться им. Потемкин — это был мой идеал; поэт в гордости, поэт в роскоши, исполненный колоссальных идей и женских капризов, смесь Азии и Европы, как сама Русь; сатрап восточный и непокорный вассал феодальный, его жизнь мне представлялась какой-то поэмой, мировой, высокой...

Горе тому, кто мечтал о власти, — у него в душе пропасть, которую ничто не может наполнить. Судьба баловала меня, я видел начало исполнения моей пламенной мечты, и вдруг эта ссора... Я должен был заступиться за честь моего отца; история довольно известная. Подлый, обыкновенный человек из толпы заплатил клеветой моему отцу, извлекшему его из грязи. Я восстал. Презренный уступал мне в глаза, несколько раз предлагал мне мириться, но я осыпал, душил его насмешками и колкостями. Он был силен.

Императрица поверила, что я буйный, неугомонный, дерзкий мальчишка... Нет, она не поверила, — надо раз видеть ее, чтобы знать эту душу небесной благости,

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
это сочувствие всему сильному и благородному, - но все старики были против меня: они ждали от меня поклонения, ждали, чтоб я являлся в праздничные дни смотреть, как их лакеи метут пол в зале, и потом слушать пошлые афоризмы об обязанностях, о службе, о поведении. Я смеялся над ними, советовал лечить подагру и, боясь беспокоить, не ездил к ним ни в их залы, ни в их домовые церкви, ни в их кабинеты. Коротко, мне приказано ехать в Москву, будто для устройства деревень, со всеми знаками гнева и немилости. Я был обижен, оскорблен, половина мечтаний лопнула, сердце обливалось кровью. Злодей этот, дурак, приезжал прощаться со мною, уверял меня с улыбкой, что ему очень жаль, что я еду, хвалил, что я принялся за хозяйство, уверял, что мне в Москве будет весело жить, что он бывал у моего отца на прекрасной даче, что в Москве климат лучше, что я поправлю здоровье, особенно нервную раздражительность, которую, вероятно, я привез из сырой Англии... Доселе удивляюсь, как я не выбросил его в окно, не растоптал ногами. Делать было нечего; скрипя зубами, отправился я в Москву. Но в Петербурге осталось все мое существование. Слыхали ли вы о польской генеральше, которой муж был убит после Тарговицкой конфедерации и которого семейство призрела императрица? Никогда мысль любви не проникала в мою душу, оледенелую от самолюбия. Но дочь этой генеральши, - я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня, - это ангел, это существо выше земных идеалов поэта, это существо, которое одно могло бы примирить Тимона с людьми, святое, высокое...

Он замолчал; видно было, как трудно ему говорить об этом.

- Я не говорил ей о любви моей и не знал, любил ли ее; не знаю, смел ли любить... Я приехал в Москву. Как бешеный волк, ходил я по этим пустым комнатам, перебирая мысли мщения и отворачиваясь от своего бессилия. Надобно было чем-нибудь заглушить обманутое самолюбие, наполнить кипящую страсть деятельности, и мне ничего не оставалось, кроме разврата. Меня окружила толпа друзей, и я проводил дни и ночи за стаканом шампанского, в объятиях развратных женщин, за зеленым сукном. Я тушил в своей душе все хорошее, все высокое и радовался успеху, радовался, что вся Москва говорила о моих затеях, но душа не могла померкнуть так скоро. Голос сильный кричал мне и при понтировке, и в чаду вакханалий: "Опомнись!", и тогда я обращал кругом себя грустный взор, потухавший от разврата, искал сочувствия и встречался с бесчувственным взором толпы. Я готов был броситься на грудь первому человеку, перелить в него все мучившее меня; но мне представлялась грудь нимфы, еще не остывшая от поцелуев другого, и я отворачивался с ужасом. Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играет в океане восточного света, являлась мысль любви, но бурные тучи страсти закрывали ее. Если б я знал, что я люблю, что я любим, если б... но я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и я хотел мстить им, губя себя в чаду нечистых страостей... Так прошло около двух лет. Зачем природа дала мне столько сил, что я перенес эти два года?! Если б, изнуренный, больной, я погас, гораздо б лучше, - тогда б я погиб один!.. Я никуда не ездил, пренебрегая пустым кругом московской знати, которая тоже воображает, что она что-нибудь значит, в то время как вся деятельность сила сосредоточена там, у трона, там, где мне нельзя было быть, откуда меня вытолкнули. Не знаю как, один из приятелей затащил меня на вечер к своей бабушке, чтоб потешить глупостью полуправнциального тона, царившего в этом доме. Меня приняли на коленях, - разумеется, не меня, Михаила Петровича, а мое состояние, мое родство, мою фамилию. Да будет проклят этот день! Там познакомился я с одной бедной девушкой, жившей в этом доме, и нашел эту душу, которую искал, которая поняла меня. Скупая старуха, ее тетка, мучила племянницу; она была угнетена, жила из милости, очень несчастно; мне было ее жаль от души. Она со всею доверенностью юности бросилась в мои объятия и нашла в них не спасение, а гибель... Тяжело признанье, скорей к концу. Она живет у меня в Поречье, и ее же родственник помог мне погубить несчастную. Вся жизнь этой девушки - любовь ко мне, а я... Но нет, ей-богу, я не виноват! - Мой пылкий характер, мое сломанное бытие... я увлекся и опомнился слишком поздно...

Он опять остановился, - тяжко было ему. Он позвонил, и камердинер явился в дверях. "Бутылку вина и два стакана", - сказал он и, опрокинув голову на спинку кресел, с видом человека, которого угрывает совесть, молчал. Принесли вино, шампанское заискрилось. Иван Сергеевич схлебнул и поставил перед собою стакан. Князь выпил два с какою-то жадностью и, судорожно улыбаясь, сказал: "Вы, верно, думаете теперь, что я хочу женить вас?

Ха-ха-ха!" Иван Сергеевич не отвечал ничего и прямо смотрел в глаза князя. Князь не выдержал и, покраснев, потупил глаза.

- Да, на чем же я остановился? - продолжал он после минутного молчания. - Ну, довольно сказать, государыня приехала в Москву, небесная доброта простила меня, мне снова разрешили приезд ко двору. Вместе с государыней приехала и генеральша с дочерью. Один ее взгляд решил мою судьбу. Та земля, страсть человеческая, это - небо, страсть божественная; нет, не страсть, страсть - что-то низкое. И я любил ее, и через месяц или два я муж ее! А Елена... Боже, неужели эта душа должна погибнуть?..

Мне следовало бы сказать ей, но это все равно, что подать стакан яду, а должно быть, страшно угрывает совесть убийцу. Двадцать раз я решался намекнуть ей, показать холодность, приготовить, но нет, нет возможности, нет сил, и я играю роль низкую, подлую, повинуясь какому-то гибельному року. Это заколдованный круг, из которого не могу выйти; душа судорожно сilitся разрушить его, не может и, утомленная, влечется в эту пропасть, на дне которой чудовище с укоризненным взглядом. Я думал перестать к ней ездить, - опять нельзя. Дня три пройдет, и она пишет мне письмо, и каждое слово так полно любви, так клеймит меня позором, что мне ничего не остается делать, как ехать, тем более что она догадывается, да и как не догадаться взору любви! Иван Сергеевич, спасите ее, бога ради, спасите ее и... малютку! Как и что - я вам объясню; ничего от вас не требую, кроме доброй воли, кроме попечений об ней, когда она узнает. При отъезде я вам вручу ломбардные билеты, - только, бога ради, не откажитесь. Теперь, как только смеркнется, я поеду с вами к ней в Поречье.

Гордый князь смотрел на Ивана Сергеевича просящим, умоляющим взором. Стариk, в первый раз попавший с поверхности жизни в ее клокочущие глубины, был тронут; лицо его отвечало ясно, он подал князю руку, но в то же время думал: "Вот куда ведут необузданые страсти". И князь, уничтоженный в другой раз перед человеком, которого он подавил бы при всяком другом обстоятельстве, угадывая мысль его, сказал, глубоко вздохнувши:

- Стариk, в твоей груди ничего не билось, не кипело подобного; твоя жизнь шла, как скучные туры бостона; но вспомни, что не у всех в жилах рыбья кровь, что жизнь иного идет, как талия бешеного штосса.

Между тем темнело. Камердинер подал свечи, и князь, как бы проснувшись от сна, поднял голову и, щуря глаза от света, сказал:

"Тройку гнедых в линейку, и чтоб ехал Сенька!" Иван Сергеевич молчал. Князь вскочил и начал ходить в сильном волнении.

- Фу, как я гадок, низок в собственных глазах! - говорил он, терзаемый жестоким чувством сознания. - И я мечтал о славе!

Но виноват ли я, что вместо крови мне влили огонь в жилы? Не виноват?.. Я, погибающий, искал спасителя, она явилась мне с любовью, с состраданием, и я полюбил ее... Что вы скажете о человеке, который откусит руку, подающую ему милостию? Что? Слова нет, как его назвать, потому что тут физическая боль, тут кровь, тут улика. Но искусай, убей нравственно душу благодетеля - и уголовная палата предаст воле божией случай его смерти и тебя освободит от суда и следствия... Кто это сказал, что от поцелуя любви ложной, от обманутой женщины до ножа убийцы один шаг?

Кто? А может быть, никто и не говорил, но всякий мог бы сказать, потому что это правда!.. А это невинное создание, которое не будет иметь ни отца, ни матери... Пуще всего, чтоб он никогда не знал, кто его отец, никогда! Я возьму с вас присягу. Проклятие сына ужасно: его нельзя вынести человеку... Но к чему все эти осторожности? Разве проклятие посыпается по почте и ему нужен адрес?

Глупец!.. О, как торжествует теперь эта толпа, подстрекнувшая меня, сгладившая мне дорогу пасть и увлечь за собою существо, рожденное для блаженства, для счастья! Она воображает, что стянула меня в свою удущливую сферу. Нет, любезные, ошиблись!

Я пал, глубоко пал в эту пучину, в которой вы сидите с головою, но я все выше вас, хотя и истерзан и преступен... Вот забавно - они виноваты, а я прав! Они виноваты, указавши мне прелестный цветок, а я, сорвавший его для того, чтоб упиться на минуту его благоуханием, я прав. Будто цель жизни этого цветка -

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
рассеять мою тоску, мою обиженную гордость. Самолюбие, проклятое самолюбие – вот где начало всех гнусностей, а я виню их. Смех, ей-богу смех! Скоты эти сами не знают, что делают; им достался стебелек от плода познания, а я могу ли извиняться тем же? Я знаю, что я должен казаться вам теперь ужасно гнусным, преступным, а я понимаю, что душа не пала, я готов все, все сделать, чтобы поправить, все возможное!

– Князь, – сказал Иван Сергеевич, – об этом надобно было думать прежде. Вы правы, я не испытал ничего подобного и благодарю за это бога. Теперь делать нечего, прошедшего не воротишь, поищем средства поправить.

– Едем, пора! – сказал князь, еще раз уничтоженный спокойствием и чистотою Ивана Сергеевича.

Верстах в десяти от Москвы была одна из тех пышных дач, куда встарь ездили наши бояре *villeggiare* [пожить за городом (итал.)], где они давали праздники для целого города, где знакомый и незнакомый находил привет и угожение. Нынче эти дачи опустели, и юноши, ходя по лабиринту гостиных, кабинетов, будуаров, с гордостью смотрят на треснувшие стены, на картины, исцарапанные штыками французов, на чернеющую позолоту, на дождевые струи, просасывающие потолок, как на иероглифы падающего века, расчищающего им место, и как бы с презрением попирают полы, на которые едва смели ступить их деды и отцы. Эта дача принадлежала князю, но князь никогда не давал там праздников; она была почти заброшена, но, несмотря на то, знали, что он ездил туда нередко, и зимой и летом. Были об этом толки; однако ж в его присутствии никто не смел ни намекнуть, ни спросить.

На дворе было холодно; осенний ветер дул беспрерывно с запада, нанося фантастические тучи с белыми закраинами и равно препятствуя светить луне и идти дождю – или снегу. Наконец он оторвал ставень одного окна, и слабый свет, проходивший сквозь зеленую шелковую гардину, осветил колонну. Если б тогда кто-нибудь стал на цоколь колоннады, то увидал бы все, происходившее в комнате, в щель, не захваченную гардиной. Но в те времена не было уже людей, пользовавшихся нездернутую занавесью, неосторожно свернутой запиской, щелью в дверях, болтливостью слуги, – людей, очень нужных Бирону и совсем ненужных Екатерине, – и потому никто не выждал падения ставня, никто не взлез на цоколь колоннады и не смотрел в окно, а стоило бы взглянуть и поэту, и артисту, и великому человеку с душою.

Окно это принадлежало небольшому будуару, обитому полосатым штофом и украшенному всеми причудами XVIII столетия.

Тут были и кариатиды, поддерживающие огромные зеркала, и канделябры из каких-то переплетенных уродов, похожих с хвоста на крокодила, а с головы на собаку, и этажерка с севрскими и саксонскими чашками, которые смотрелись в ее зеркальные стенки, и амур на коленках, точащий стрелу о мраморную доску, и ченерентолин [Золушкин, от *cenerecentola* (итал.)] башмачок вместо чернильницы, и фарфоровая пастушка с корзинкой, и фарфоровый пьяница с бутылкой, и китайские блюдечки, и японские вазы для цветов. Между этими безделушками были разбросаны другие безделки, принадлежавшие женщине, говорившие о ее молодости, о нарядах, о красоте, о юности, о любви.

К самому окну были придинуты пяльцы, возле дивана маленький столик, и на нем бриллиантовый браслет с мужским портретом, и на стене портреты того же мужчины в разных костюмах. На одном он был представлен верхом в черкесской, на другом – в кастильской одежде, на третьем – завернутый в какую-то мантию или тогу *a la grecque* [в греческом духе (франц.)]. На диване лежала женщина лет 22, прелестная собою.

Густые, темные волосы, зачесанные по-тогдашнему вверх, открывали белое, как слоновая кость, чело; темно-голубые глаза горели любовью. Просто и роскошно была она одета, во всем выражалась женщина любящая. Возле нее, на мягкой бархатной подушке, лежал ребенок месяцев десяти, и она не спускала с него глаз. Она беспрестанно вставала, то становилась на колени перед подушкой и молча смотрела на него с избытком чувства, возможным только матери, то прижимала его к груди, целовала ему ножки, ручки до того, что ребенок плакал, то пряталась от него и приходила в восторг, когда замечала, что он ее ищет, то говорила с ним, кокетничала перед ним и чуть не прыгала от радости, когда он улыбался. Как

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
счастлив должен быть отец этого ребенка! Только та мать так любит детей, которая страстно любила отца их; она в ребенке продолжает любить его, это - апофеоз самой любви их. Но отец этого ребенка не был счастлив.

- Погодите здесь, - сказал князь Ивану Сергеевичу, вводя его в гостиную, и пошел далее. дверь в будуар была полуузатворена, и он остановился перед сценою, которую мы сейчас видели. Князь был поражен, слезы навернулись на глазах, и сильно забилось сердце его. дверь скрипнула; женщина обернулась, крик восторга вырвался из груди ее, и в одно мгновение она повисла на шее князя, осыпая поцелуями мужественное и гордое лицо его.

- Сегодня я тебя никак не ждала. На дворе такой холод, ты иззяб! - И она схватила его белую, стройную руку и старалась отогреть ее поцелуями. Знаешь ли, что ты уж две недели не был у меня? Но я не сержусь. Двор в Москве: тебе много хлопот. Ну, что императрица?.. Да ты что-то мрачен? Посмотри, как мил наш Анатоль: он сегодня целый день не плакал, ручонку сам протягивает...

И она подвела князя к дивану. Он взглянул на ребенка и на нее с каким-то состраданием, но всякий мог бы заметить, что в эту минуту он один заслуживал сострадания.

- Елена, я приехал обрадовать тебя, - сказал он, стараясь как можно реже встречать ее взор, - императрица простила меня, велела приехать в Петербург. Душевно жаль, что я решительно не могу взять тебя с собою, но я скоро опять побываю в Москву. Будь тверда, душа моя, пиши ко мне обо всем, что нужно.

Глаза Елены омрачились; из-за слов князя выглядывало для нее что-то чудовищное, ужасное. И почему он говорит не так, как прежде, и почему нельзя ей ехать в Петербург, и зачем же он едет, если ей нельзя, и что это - писать обо всем? будто ей есть о чем писать, кроме любви, - неужели о своих нуждах? как будто у ней есть нужды, кроме потребности любви? Еще в прошлый раз она замечала в нем что-то необыкновенное, принужденное; зачем -взор его задумчиво простирался вдаль, когда она была возле него, когда он должен был окончиться на ее взоре?.. Ей сделалось страшно, она заплакала.

- О, ради бога, не плачь! - воскликнул князь с жаром, увидав ее слезы. - Умоляю тебя, мой ангел, моя Елена! Каждая слеза твоя падает растопленным свинцом на мое сердце. Не мучь меня, и так душа моя разбита, и ты отправляешь минуту радости, которую я ждал целые годы. Зачем подошла ты так близко к моему существованию? На мне проклятие, я гублю все, приближающееся ко мне. Я, как анчар, отправляю того, кто вздумает отдохнуть под моей сенью!

- О, я не раскаиваюсь, - перебила она его. - И если в самом деле счастье закатилось для меня, воспоминание минут, в которые я полной чашей пила блаженство, выкупит все последующие страдания. Я и в мраке буду вспоминать солнце, светившее, гревшее меня, но и это недолго...

- Недолго? Отчего недолго? - спросил князь, и лицо его побледнело, и он судорожно схватил опахало, лежавшее на диване, и изломал его.

- Оттого, что я умру без твоей любви, - отвечала Елена.

- О, женщины! - сказал князь, отирая пот, выступивший на лице его. Ты, верно, думаешь о какой-нибудь сопернице? Кто сказал тебе, что я люблю другую?

- Кто? - прошептала Елена, и горькая улыбка мелькнула на устах ее.

- С чего ты взяла, что я перестал любить тебя? Мне надобна деятельность, мне надобна слава, власть, и потому я еду. А ты, ты хочешь на прощанье отпустить со мною угрызения совести, ужасную мысль, что я могу быть твоим убийцей, что тень твоя будет являться мне, как тень Банко Макбету средь пира, средь...

Он остановился. "Не так говорил он прежде, - думала Елена. - Будто слова лжи могут жечь кровь, будто глаза могут выражать, чего нет в душе? Тогда его не манило другое поприще; впрочем, ведь и прежде случались с ним минуты грусти, и, может быть, я обвиняю его напрасно".

- О, какой же ты чудный, Мишель! - говорила она, подавляя возникшее подозрение.
Страница 8

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Успокойся, ради бога, успокойся! Ну, как не стыдно?! Я ведь ребенок, болтаю сама не знаю что. Тобою овладел опять злой демон, который заставлял тебя скрипеть зубами в моих объятиях тогда, как я была вся блаженство. Я радовалась, думала, что он исчез, а вот он опять явился. Какой он гадкий, этот демон! - прибавила она, целуя князя в глаза.

Князь сидел неподвижно в углу дивана. Елена оперлась локтем на его плечо.

- Да что же ты сегодня, как египетский истукан, неподвижен и вытянут? Перестань же сердиться; ну пусть я виновата - ты знаешь, я сумасшедшая. Перестаньте же, ваше сиятельство, будьте же сколько-нибудь учтивы!

Притворная веселость Елены оживила князя; он взглянул на нее взором благодарности и снова погрузился в прежнюю мрачную задумчивость.

- Помнишь ли, - продолжала Елена, ласкаясь к нему, - помнишь ли, что завтра тринадцатое сентября?

- А что такое тринадцатое сентября?

- О, холодный человек! Он не помнит! Прекрасно, ему этот день ничего не представляет! Нет, мужчина никогда не может любить так пламенно, так ярко; а я завтра весь день буду праздновать, и ты - святой, ты - бог этого праздника! Да не 13-го ли сентября у моей тетушки ты увидал меня в первый раз? Ты можешь забыть этот вечер, но я, я никогда не забуду его! Я помню все, все: и как ты взошел, и как ты взглянул на меня, и как ты спросил у сидевшего подле тебя: "Кто эта прелестная брюнетка с голубыми глазами?" Я задыхалась, я думала, сердце разорвется у меня; тут только я поняла, что такое жизнь, любовь! Ты заговорил со мною, я отвечала бог знает что, но зато как глубоко врезались в мою душу твои глаза, сверкающие умом и страстью, твои черты, одушевленные, восторженные, совсем не похожие на эти обыкновенные лица. А помнишь ли 20-е ноября?

Тут лицо ее вспыхнуло еще более, и она скрыла его на груди князя, целуя ее и повторяя: "О, как много, много я люблю тебя!" Терзания князя были ужасны.

- Мишель, - продолжала Елена, приподняв через несколько минут голову, за что же ты давеча сердился, когда я заговорила о смерти? Не счастье ли умереть теперь на твоей груди, воспоминая нашу встречу? Что может еще мне дать жизнь? Я благословляю судьбу свою, благословляю встречу с тобою. Что бы я, если бы ты не дунул огнем в мою душу, если бы ты самой не открыл ее, если бы ты не показал мне все прекрасное на этой земле? Безжизненная вещь, проданная в жены какой-нибудь другой вещи. И разве не провидение бросило меня в твои объятия? О, сколько раз, поверженная на полу перед образом спасителя, я молилась, чтоб он мне дал силу противостоять обольщению! Но нет, я не могла, я летела, как мотылек к огню. Я насладилась всем земным, теперь я могу умереть... Нет, нет, что я говорю?! Я не хочу умирать! Кто же будет ходить за Анатолем? И сколько радостей ждет меня еще в будущности! Я увижу еще тебя в блеске, в славе, ты будешь министром, фельдмаршалом, я тебе пророчу это, и тогда-то, когда все будет греметь о твоих подвигах, когда ты пойдешь от торжества к торжеству, окруженный целым двором, при звуках литавр, когда ты будешь празднуемый победитель, герой, не знаю что, - не блаженство ли знать, что этот великий любит меня, простую девушку, что для того, чтоб провести со мной несколько часов, он много раз ходил пешком в метель, зимою, целые две версты...

Глаза князя горели, его властолюбивая душа упивалась этой картиною, столь близкою мечтам его и набросанной с такою детской наивностью.

- Но если середь торжества я тебя увижу не одного?..

- Как? Ты еще не оставила этой вздорной мысли?!

- Чему же дивиться? Тебе надобно же жениться, тебе императрица прикажет. Ну что ж, Мишель, лишь бы ты не любил ее.

Пусть ей принадлежит твое имя, твой блеск, а мне - одна твоя любовь; тогда-то ты увидишь, как искренно и глубоко я люблю тебя.

Я очень знаю, что я не могу быть твоей женой, мне это не нужно, лишь бы не

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
отнимал ты любви своей! Да и поймет ли какая-нибудь фрейлина, бледное,
безжизненное растение, принужденно выращенное в оранжерее, твою огненную душу?

- Ну а если поймет? - сказал князь с каким-то сардоническим смехом.

- Тогда бог не оставит сироту, Анатоля.

Князь содрогнулся. Страшная мысль о ее смерти промелькнула снова, как призрак, перед его глазами.

- Мишель, возьми меня с собою! О, я буду счастлива там, где ты! Спрячь меня куда-нибудь в глухую улицу, только лишь бы не быть в разлуке. А здесь - ну что я буду делать? Я буду больна, буду грустить, а там мне будет весело.

- Нельзя, право, нельзя. Ты сама не просила бы этого, если б знала, какую жизнь должен я вести теперь, как всякий шаг мой будут выглядывать. Да, кстати, душа, я привез с собою одного приятеля: через него мы будем переписываться; к нему я имею полную доверенность, ему я поручил тебя и Анатоля. Позволь же его позвать - он ждет в гостиной.

- Да когда же ты едешь?

- Еще недели через две. Я хочу только, чтобы вы познакомились. Он чудак, но человек преблагородный, и надеюсь, что моя рекомендация, прибавил князь шутливым тоном, - важнее, чем рекомендация всего рода человеческого.

- Где же он? - перебила Елена и бросилась к трюмо поправлять волосы.

Князь встал, накинул на Елену шаль и, отворив дверь, сказал громким голосом: "Иван Сергеевич, пожалуйте сюда". Иван Сергеевич взошел.

- Смотри, смотри невесту, - говорил молодой человек, толкая товарища. Что за поэзия в ее взоре, что за небесное выражение в лице! И эта пышная легкая ткань, едва касаясь ее гибкого стана, делает из нее что-то воздушное, неземное, отталкивающее всякую нечистую мысль.

- C'est l'Helene de Menelas [Это Елена Менелая (франц.)], - отвечал тот громко тогдашим языком.

- Боже, какой ангел достается князю!

- Ведь у него, матушка Ирина Васильевна, в Москве-то на даче живет немка ли, тальянка ли, - говорила старая старуха в нарядном чепце, с лицом, похожим на кофейник, своей соседке, которой лицо даже и на кофейник не было похоже, и говорила так громко, что князь, бледный как полотно, обратился к шаферу и, сам не зная, что говорит, сказал: "Мне дурно".

- Немудрено, такое множество набилось в церковь, духота страшная, отвечал шафер, лейб-гвардии Преображенского полка капитан, весь облитый золотом, тем решительным тоном, которым светский человек объясняет душевые волнения, а школьный ученый - явления природы, не понимая их внутреннего смысла.

В знакомом нам будуаре, на том же диване, где пламенная Елена сгорала в объятиях князя, лежала она в обмороке. Цвет лица ее был не бледен, а был как мрамор; изредка, минут через двадцать, захлебывалась она, так сказать, воздухом и потом опять оставалась бездыханна, как труп. У головы ее сидел знаменитый фрез в напудренном парике, в шелковых чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками. В его глазах было больше, нежели мы ждем в глазах доктора. Он смотрел на нее беспрерывно, замечая малейшие изменения, иногда подносил к ее носу склянку нашатырного спирта, но, не видя никакого действия, пожимал плечами. Иван Сергеевич, исполняя, как от души честный человек, поручение князя, стоял тут же, то щупая, не простыл ли сельтерский кувшин, завернутый в салфетку и приложенный к ее ногам, чтоб согреть их, то прикладывая к ее голове полотенце, обмоченное в уксус и холодную воду. Грудь Елены была раскрыта, и горничная терла ее фланелью. Какое-то гробовое молчание царило в горнице, только издали доносился иногда слабый плач ребенка да однозвучный голос убаюкивавшей его няньки. Это было зимою, но день был ясен и тепел; солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, и вода журча капала с капителей на каменный балкон.

Наконец Фрез встал, вынул часы и сказал:

- Странно, очень странно; теперь второй час в исходе, а ей нисколько не лучше, а я приехал часов в девять. А когда это началось?

- Вчера в четверть десятого, - отвечал Иван Сергеевич, - и продолжалось всю ночь.

Фрез взял ее руку, которая лежала как какая-нибудь вещь, как отрубленная ветвь, и, развязав повязку, сказал: "Посмотрите, четыре часа лежали синапизмы, и даже ни малейшего следа, а ведь уж тут просто химическое действие".

- Уж, знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским снадобьям, - бормотала горничная.

- Regardez Fignorance du bas peuple [Вот невежество простонародья (франц.)], - сказал Фрез, обращаясь с улыбкой к Ивану Сергеевичу. - Et apres cela faites leur accroire que nous ne sommes pas des charlatans [И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны (франц.)], - впрочем, мне пора ехать. Проклятая даль этой дачи, - в семь часов я приеду.

Вы, верно, подождете меня, Иван... Иван Степаныч, - прибавил он, взяв шляпу.

- Ведь вы-то, батюшка, русские, - сказала горничная, когда Иван Сергеевич, проводив доктора, возвратился в комнату. - Позвольте, я всприсну барышню богоявленкой водой: право, лучше будет, велика ее сила... Ах, Елена Павловна, василек, серпом подрезанный, не встать тебе, сердце говорит, не встать, родная! А душу б свою отдала за тебя. Ангел была во плоти, грубого слова не слыхали мы от нее. Бывало, день-деньской сидит себе, как павочка, с Антоном Михалычем, и своей грудью кормила его. "Не хочу, говорит, чтоб пил чужое молоко". Позвольте же всприснуть?

- Пожалуй, - сказал Иван Сергеевич, - хуже от этого быть не может.

Горничная принесла скляночку с водой и бросилась на колени перед иконою Богоматери; слезы катились из глаз ее, она молилась о ближнем. В эту минуту эта простая девка была высока!

Не думайте, чтоб их грубые религиозные понятия препятствовали им молиться. Помолившись, она взяла в рот святой воды, три раза перекрестила больную и, глядя на нее с полным чувством веры, прыснула ей в лицо. Елена вздрогнула, вздохнула несколько раз сильно и раскрыла глаза, мутные и без всякого выражения, посмотрела с недоумением на Ивана Сергеевича; глупая, стоячая улыбка показалась на устах. "Пить", - пробормотала она едва внятно.

Ей подали мяты воды. Едва хлебнув, она отворотилась и сказала:

"Ах, как мне спать хочется, так сон и клонит", - и опять закрыла глаза. Но дыхание продолжалось, а лицо загорелось слабым румянцем.

Горничная в восторге целовала ее ноги и с детской радостью говорила: "Не сказывайте только этому немцу, а то ведь он же надругается над нашей святыней... да вы еще и не кушали, Иван Сергеевич; ступайте, в той горнице я приготовила вам обед, а я побуду здесь".

Иван Сергеевич был душевно рад; камень свалился с плеч, он пошел в столовую и при первой ложке супа подумал: "Не забыла ли Устинья покормить Плутуса?"

Письмо Ивана Сергеевича к князю

Сиятельный князь!

С искренним удовольствием спешу уведомить Ваше сиятельство, что здоровье Елены Павловны поправляется. Все убеждения мои остаться до совершенного выздоровления в Поречье были тщетны, она переехала на маленькую квартиру, которую наняла ее горничная на Садовой. Впрочем, может, это к лучшему: в Поречье все напоминало ей беспрестанно счастливую эпоху жизни, которую она утратила. Сколько я ни просил

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
ее взять вещи, подаренные Вашим сиятельством или бывшие у ней в употреблении, она решительно отказалась. Взяла только бриллиантовый браслет с Вашим портретом, но на другой день возвратила бриллианты. Когда я намекнул о ломбардных билетах, она с гордостью спросила: "Знаете ли вы, кому платят за любовь?", после чего я не заикался; время - великий доктор. Немцы говорят: "Kommt Zeit - kommt Rat" [Придет время - покажет, как быть (нем.)]. Квартира, нанятая ею, очень мала, но она именно такую и велела сыскать; денег у нее нет, и она хочет вышивать для продажи. Сколько это ни смешно, но, видя тут детский каприз и, сверх того, занятие, я взялся искать покупщиков. Горничная, которая была при ней, не хотела с ней расстаться, и я ей дал паспорт; через нее я предупреждаю все нужды Елены Павловны. Она, как ребенок, не знает ничего в хозяйственном отношении, однако же несколько раз спрашивала горничную, откуда деньги, и та уверила, что это ее собственные.

Доселе о Вашем сиятельстве она не говорила ни слова. Сначала я замечал у нее заплаканные глаза, теперь она даже весела, только часто задумывается и, прия в себя, начинает смеяться над своею рассеянностью. Нрав у нее истинно ангельский: кротка, добра и в мелочах слушается меня, как отца. Жаль только, что не хочет лечиться; фрез уверяет, что весенний воздух исправит все. Он не может более ездить, ибо она решительно отказалась его принимать, говоря, что у нее денег нет платить за визиты. Вчера я пил у ней чай, она шутила и наконец сказала мне: "Посмотрите мое маленькое хозяйство, - чем я не невеста? Признайтесь, Иван Сергеевич, нет ли вам поручения искать мне жениха?" Я отвечал, что нет, но что само собой разумеется, что с ее достоинством, в ее летах можно надеяться сделать партию хорошую. "Я не прочь, - сказала она, - только не забудьте в рядную написать Анатоля", - и расхохоталась. Но я думаю, со временем увидит, что в самом деле не худо позаботиться о замужестве, лишь бы здоровье совсем поправилось.

Впрочем, я надеюсь, что это будет скоро. Теперь осталось только по временам кровохарканье; фрез говорит, что это следствие сильного нервного потрясения и обмороков, беспрерывно продолжавшихся две недели.

Не премину и впредь извещать Ваше сиятельство о всех подробностях относительно Елены Павловны. При сем вы получите на особом листе подробный счет израсходованных мною денег, как на заплату доктору, в аптеку, так и на другие издержки.

С истинным уважением и таковою же преданностию честь имею пребыть Вашего сиятельства покорнейший слуга

Ив. Тильков.

Москва.

1792 года, марта 1-го.

Апрель месяц оканчивался, а Святая неделя начиналась. Улицы московские, тогда еще не мощенные, представляли непроходимую грязь. Вода бежала потоками, мутная, черная, но все было весело.

Колокола примешивали в сырой воздух какую-то торжественность; множество карет цугом неслось взад и вперед, и множество шей, переплетенных в шитые воротники, выглядывало из них. Толпы народа в праздничных кафтанах, с истинным удовольствием на лице, шли по колена в грязи под качели. Дворовые люди стояли у ворот, грызли орехи и играли на балалайке; старички и старушки возвращались домой от обедни с просвирою в руках, с молитвой в сердце. Кто знает, что такое в Москве Святая неделя, тот легко представит себе эту картину. Это один праздник, который мы умеем праздновать народно, весело, в котором участвуют все - бедный покрывает свои лохмотья, работник забывает свои мозоли и душную мастерскую, крестьянин отгоняет мысли об оброке, недоимке и бурмистре. В эту неделю все дышит праздником, весною, счастьем.

В это время у Арбатских ворот какой-то человек в довольно поношенном сюртуке на вате, с бобровым воротником, и с палкою из сахарного тростника в руках пробирался с камня на камень от церкви Бориса и Глеба к дому графа Апраксина.

Он было совершенно счастливо кончил полдороги, как вдруг с Воздвижки выехала
Страница 12

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
карета, запряженная четырьмя худыми лошадьми. Прохожий был так близко к ней, что грязь с заднего колеса обрызгала его с головы до ног, и в то же время голова в напудренном парике выставилась в окошко и закричала: "Стой, стой! Ах, Иван Степаныч, извините, что моя карета так неучтила, да и вы немножко неосторожны. Скажите, пожалуйста, какая жалость! Вы не поверите, я уже тридцать два года доктор, и на моих руках и при мне умерло несколько сот людей, я окреп, но вчерашняя сцена расстроила меня до невозможности".

- Да, - сказал Иван Сергеевич, вздохнувши.

- Бедная, - продолжал Фрез, - и последнее слово было его имя и молитва о нем. Досадно, что она не хотела лечиться порядком, а пущь всего, не принимала капель, которые я прописал, - действие их несомненно. Вот как дорого платят за капризы. Всю ночь ее агония была у меня перед глазами. Жаль, очень жаль - *I'homme est une machine à vivre, et quand le moteur s'abîme, la machine se casse* [человек - машина, предназначенная для жизни, и, когда портится двигатель, машина перестает работать (франц.)]. Я, право, полюбил ее от души, а убийца ее, чай, преспокойно ездит с визитами.

Mecreant! [Безбожник!] (франц.) Скажите, когда вынос и отпевание?

- Завтра в девять часов, в приходе Спиридония.

- Приеду непременно. Прощайте. Да, а propos [кстати (франц.)], говорят, этот князь поручил вам Анатоля; пожалуйста, когда нужно, присылайте за мною, я для этого ребенка готов все сделать, - вот видите ли, и у доктора есть иногда душа, - прибавил он с улыбкой добродушия.

- Что и говорить, Карл Федорович, ужасный случай, я сам после смерти матушки вчера в первый раз плакал. Дай бог ей царствие небесное!

- Если оно есть, - прибавил доктор с улыбкою, выдерживая роль материалиста.

Между тем князь утопал в море наслаждений. Чего ему недоставало? Дома пламенная любовь жены, а вне - осуществление всех самолюбивых мечтаний. Однажды он воротился из дворца веселее обыкновенного: в этот вечер императрицасыпала его милостями. Камердинер взошел раздевать его.

- Что княгиня? - спросил он.

- Почивает.

Он разделся, взял сигару (большая редкость в те времена), закурил и сел перед столом. На столе лежало письмо.

- Откуда? - спросил он.

- С почты, - сказал камердинер.

Князь распечатал его, оно очень коротко: "С истинным и душевным соболезнованием известить должен я Ваше сиятельство, что Елена Павловна скончалась в ночь на сегодняшний день в два часа с четвертью. Часа за три до смерти она попросила бумаги и, перо, хотела писать Вашему сиятельству, но, написавши несколько строк, она бросила и сказала:

"Он не станет читать". Потом впала в забытье, минутами приходила в себя, но и тут речь ее была несвязна. Ваш портрет требовала беспрестанно. "Конечно, - сказала она наконец, - мне легче: пусть он не знает моих страданий. Бог простит меня. Видите - свет и музыка". Тут улыбка показалась на охолодевших устах - и ее не стало. Подробности следующий раз, боюсь опоздать на почту".

В письмо была вложена записочка, измятая судорожными движениями и облитая слезами. В ней не было никакого смысла и почти нельзя было прочесть - так слаба была рука писавшая: "Mes tourments finissent... Merci, grand Dieu!.. Oh, que je taime, mon ange... Hate-toi de venir [моим мучениям приходит конец... Благодарю, боже!.. О, как я люблю тебя, ангел мой... Приезжай скорее (франц.)], а то опоздаешь, я умру, скоро умру... Qu'il est beau... elle..." [Как он прекрасен... она... (франц.)] Знаете ли вы то чувство, когда человек очнется после обморока?

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Он видит, что все знакомое, но точно будто в первый раз, двух мыслей связать нельзя, удивительная тупость в голове; человек делается меньше, чем скот, растение.

Точно то же сделалось в душе князя. Он не был порочен, вся вина необузданность, к которой он привык с молодых лет.

С начала письма вся кровь бросилась ему в сердце и в голову, и он дрожал от холода, рука не могла держать сигары, она выпала; язык высох, лицо посинело, но он читал, прочел все, положил письмо, посмотрел около себя, на стены. Портрет его отца встретился глазам, ему очень хотелось знать, чей это портрет; потер себе лоб, но не мог сообразить. Потом инстинктивно вспомнил о сигаре, спросил камердинера, где она; тот подал ему, он начал расщипывать ее и положил на стол. Потом он посмотрел на камердинера, тот не мог вынести его взора и задрожал. "Воды!" - сказал князь совсем не своим голосом. Он выпил два стакана, неверными шагами дошел до дивана и бросился на него. Тут немного погодя стало у него в голове и гораздо мрачнее на душе.

- я буду спать здесь, - сказал он слуге.

Слуга взял свечи, поклонился и пошел.

- Оставь свечи и убирайся к черту! - закричал князь.

Камердинер вышел в лакейскую и, встретив там дворецкого, сказал ему шепотом: "Ну уж, Спиридон Федорыч, как наш князь нарезался сегодня - зюзя зюзей! Не смеет жене носу показать; там улегся в угольной на диване болен, дескать.

Сначала с воздуха-то незаметно было, а как теплом-то его обдало, так еле на ногах стоит".

- Это они не пьяницы, - сказал дворецкий. - Мы, вишь, пьем одни. Пойдем-ка с горя в буфет.

И пошли.

Князь взглянул на часы - четверть третьего. Ему сделалось холодно, как на морозе без шубы. Но он решительно ни о чем не думал, душа его была оглушена, а по телу лился яд, хуже синильной кислоты, и тело разлагалось. Часы пробили три. Вдруг тихо, тихо отворяется дверь. На свечах очень нагорело. Князь всматривается... Елена, живая, веселая, как в первый день свиданья; она бросается на колени, шепчет "прости". "Так это все вздор!" сказал князь и бросился к ней. Она склонила голову на его плечо; князь взял ее руку - и рука осталась у него. Он содрогнулся, хотел поцеловать ее и поцеловал ряд зубов мертвый головы; нижняя челюсть щелкала с улыбкой, куски мяса висели на щеках, длинные волосы едва держались на черепе. Князь отскочил, и голова, склоненная на его плечо, ударила об пол и покатилась. Дыханье замерло в груди князя. "Помилуй, что с тобой?" шептала ему Елена. - Ты как будто боишься меня, зачем отталкиваешь? Ведь я - твое создание; неужели и одной минуты для меня больше нет?" Князь хотел снова подвинуться к ней, но между ним и ею стоял карлик, такой отвратительный, желтый, с небритой бородой. Этот карлик помирал со смеху и лаял, как собака. Князь хотел оттолкнуть его ногой. Карлик схватил его за ногу зубами, и тут только он разглядел, что это не карлик, а рыба. Князь побежал в комнату жены. Она поклонилась, тихая, небесная, с молитвой на устах. Князь разбудил ее, она взяла его руку, хотела поцеловать и спросила:

"Что это от твоих рук так пахнет покойником?" - "Я сейчас снимал со свечи, - сказал князь, - и мне пить хочется". - "Я принесу", - сказал карлик. Князь схватил саблю. Карлик захотел и вспрыгнул на постель. Князь ударил что есть силы.

Удар этот отделил голову жены, карлик захотел еще громче, схватил череп и подал его князю, говоря: "Trinken Sie, mein Herr" [Выпейте, сударь (нем.)]. Князь взял череп и начал пить теплую кровь - руки его дрожали, он облился... Больше его фантазия не могла действовать; он раскрыл глаза мутные, свечи потухли, день занимался.

Говорят, дневной свет придает чудную храбрость, это правда.

Но и то правда, что, когда настанет день, все совершенное во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд; это - jury [Суд присяжных (франц.)] нашей совести, и jury без ошибки. Теперь не спазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства, и горько, очень горько было ему.

Все ужаснейшие муки угрызающей совести терзали душу князя. Вид его сделался страшен. Он заперся у себя дома, не брил бороды; признаки сумасшествия начали показываться и в словах и во взоре. Все старания, вся необъятная любовь жены ничего не производили.

- Нет, этого пятна, - повторял он, - любовь не в силах снять. Это может один бог, но я первый назвал бы его несправедливым, если б он стер его. И я не мог оправдаться перед нею, и она унесла с собою в могилу мнение обо мне как о трусе, злодее, который боится собственных злодеяний.

И, что хуже всего, при этом он так зверски хохотал, что кровь стыла в жилах жены и она трепетала и мучилась, видя его страдания.

Если человек, сильно пораженный несчастием, вместо слез захочет, его погибель верна - тут уже нет спасенья: душа, согласившаяся в такую минуту сделать совершенно противоположное естественному порядку, сломана. Тут, по словам князя, один бог может поправить, а ни время, ни земные средства.

Этим смехом человек передает свою жизнь, и еще более - свою вечность духам темноты и злобы. Так и случилось; его мрачная меланхолия приняла какую-то ровную, одинаковую форму, гамлетовский смех надо всем - какую-то свирепость; слова его были ужасны: какие-то стансы из адской поэмы, писанной желчью на коже, содранной с живого человека. Служить он не хотел, и нельзя было; императрица жалела о нем и удваивала свое внимание, воображая, что прошедшая немилость привела его в это положение. И это внимание усиливало еще более его мучения. Когда человек сознает себя преступным, справедливо наказанным, и притом человек этот горд и самолюбив, ничего не может быть ужаснее этого сострадания и этой уверенности других, что он не виноват.

Княгиня увезла его в Москву... Он стал несколько спокойнее, но не поправлялся; седые волосы показались на этой голове, через которую не прошло еще и тридцати зим. Прелестная рука его сделалась угловата, щеки ввалились, одни глаза блестали каким-то диким огнем. Он почти совсем не спал. Всю ночь дом был освещен, и он ходил из комнаты в комнату. Но жена его не тяготилась своею судьбою, - нет, она любила его, как в день свадьбы, еще более; его несчаствия расширили, удвоили любовь.

Она не отходила от него ни на минуту, где могла, вливала слово утешения, чаще всего молилась и несла свой крест со смирением христианина. Она думала, что ее страдания выкупят его преступление.

Однажды князь, просидев несколько часов неподвижно на самых тех креслах, на которых сидел, когда был у него Иван Сергеевич, не обращая ни малейшего внимания на княгиню, которая со слезами на ресницах не спускала с него взора, закрыл глаза, и голова его склонилась на грудь. Княгиня встала, подошла к нему, чтоб удостовериться, спит ли он, поцеловала его, поцеловала его руку и на цыпочках вышла вон. Князь не слыхал.

Одноко, пустынно Новодевичьему монастырю. С одной стороны поле с бледно-зеленою, едва растущей травой от нечистого дыханья города; с другой - болото Лужники. Там часы бьют каждую минуту, устроенные несчастной царице для того, чтобы погребальный звук их напоминал ей беспрерывно утрату счаствия и приближение смерти. Там чистые девы, испуганные миром, прячутся от него за Богоматерь и молятся. Там девы падшие повергаются с раскаянием, со слезою перед Богоматерью и молятся. Там старухи приносят Богоматери свое изнуренное тело, последнюю мысль и последнее чувство на земле и молятся. Там множество надгробных памятников придавливает к земле телесную часть человека и молится о душевной, там колокольня посыпает молитву на небо, там все молится.

К этому монастырю подъехала пышная карета, запряженная шестью вороными лошадьми

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
с атласной шерстью. Два лакея, в полурусском, полушутовском наряде и какой-то мамонтовской величины, соскочили с запяток и отворили дверцы кареты. Сперва вышла дама очень молодая, очень стройная, очень бледная, вся в белом; за нею - Иван Сергеевич в глазетовом камзоле, что надевал в Успенье. Дама, едва опираясь на его руку, взошла в ограду монастыря и сказала ему: "Ведите". Иван Сергеевич провел ее к какой-то могиле и снял шляпу. Дама отколола букет цветов от своей груди и бросила их на холодную землю.

- Спи мирно, - сказала она, - цветок, бурею сорванный и молнией сожженный. Твоя душа много страдала, покойся же теперь. О, я любила тебя, любила за твою пламенную любовь к нему; наши души сочувствовали, они были одинаковы, родные. Я желала видеть тебя, я хотела быть твоим другом, но приняла ли бы ты мою дружбу и смела ли бы я, счастливая, протянуть руку тебе, несчастной? Елена, я не похитила его у тебя; он был мой, когда буря жизни бросила тебя в его огненное существование; наши души - одно неразрывное, может, до рождения. Зачем именно ему предалась ты?.. Нет, нет! Ты права, Елена! Кому ж другому могла бы ты отдать такую душу, как не его душе - обширной, глубокой, океану? Ты потонула в этом океане, но ты испытала счастье, и за минуту блаженства разве нельзя отдать дни свои? Покойся же, там мы увидимся, там нет раздела, там все - любовь, там я и ты свободно будем любить его.

Тут она склонила колена и подняла молящий взор к небу; слезы катились с ланит ее.

- Елена, мири пришла я просить у тебя. Может, ты ненавидела меня помирися же теперь... И его прости, он мучится, страдает, он несчастен в моих объятиях, и я не смею, не примиряясь с тобою, утешать его. Его страдания принадлежат тебе, боюсь лишить тебя и их. Но ты любила его, любишь, жизнь твоя там лучше прежней, пошли же ему утешение. Будем вместе молиться о нем!..

В это время молоденькая клирошанка отворила окно в церкви, и стройный хор женских голосов слабо и невещественно донесся до могилы. Небольшое облако, покрывающее солнце, рассеялось. Это было 15 июля, в вечерни.

Князь проснулся. В нем произошла какая-то перемена. Он почувствовал опять силу и здоровье, вспомнил о своих делах, позвонил, велел камердинеру подать мундир, оделся, приказал заложить коляску, потом поспешно схватил лист бумаги и написал:

"Всеподданнейший доклад

о преобразовании судопроизводства.

Судопроизводство в обширном смысле слова есть та часть религии, которая обнимает в гражданском быту все отрасли архитектуры и епархиального управления.

1. Садоводство распадается на две части: на Министерство Юстиции и на Технологический институт. Учреждение Министерства необходимо, но министром должен быть музыкант и князь.

Коллегиальное начало вредно для постройки зданий, но полезно для мостов..."

Он еще писал, когда взошла княгиня. С видом величайшей важности князь указал ей стул и прибавил:

- Я о вашем деле говорил с графом, но извините, мне нет секунды свободной...

Как холодной водой обдало княгиню. Она все поняла! Бедная, несчастная!.. Она хотела броситься к нему на шею, он оттолкнул ее.

- Ну, так, сударыня, я знал, что вы подосланы от Козодавлева и Вязмитинова!

Это было 15 июля, после вечерень.

(1836-1838)

А. И. ГЕРЦЕН

Все произведения печатаются по изданию: Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 1. М.: Издательство Академии наук СССР, 1954.

Елена

Елена. Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
С. 297. Скворцов А. Е. - учитель вятской гимназии.
Озеров В. А. (1769 - 1816) - русский драматург; цитата из его трагедии "Эдип в Афинах".
С. 297. дильтей Филипп-Генрих (ум. 1781) - профессор Московского университета по юридическому факультету.
С. 298. Бомба - суровая шерстяная ткань.
С. 300. Верdepомовый - цвет незрелых яблок (от франц. vert - зеленый и la pomme - яблоко).
С. 301 Кихенрейтер - дуэльный пистолет; назван по фамилии оружейника.
С. 303. ...после Тарговицкой конфедерации... - в 1792 г. в польском местечке Тарговицах собралась конфедерация представителей польской знати, пользовавшейся поддержкой Екатерины II в их борьбе против сторонников независимости Польши.
Тимон (V в. до н. э.) - афинянин, резко обличавший безнравственность современного ему общества и в конце концов удалившийся от людей, отказавшись от всякого общения с ними.
Геспер (греч.) - одно из названий планеты Венера как вечерней звезды.
С. 312. Синализм - горчичник.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!